

Евгений Андреевич Салиас

Ширь и мах (Миллион)

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-311.6
ББК 84-4

Евгений Андреевич Салиас

Ширь и мах (Миллион) / Евгений Андреевич Салиас – М.: Книга по Требованию, 2011. – 112 с.

ISBN 978-5-4241-2612-3

Впервые этот исторический роман был издан под названием «Миллион» в 1885 году. Автора, Е.А. Салиаса, современники называли "русским Дюма".

ISBN 978-5-4241-2612-3

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Евгений Андреевич Салиас
Ширь и мах
(Миллион)
Исторический роман в 2-х
частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Широко, гулко, размашисто, будто потоком – идет вельможная жизнь екатерининского царедворца.

Таврический дворец шумит, гудит, стучит.

У князя Потемкина прием.

Полдень... Под прямыми лучами майского солнца дворец ослепительно сверкает своей белизной. Весь двор заставлен десятками всяких экипажей и верховых коней. В чаще сада, на всех дорожках, мелькают яркоцветные платья и мундиры. Во всех залах и горницах огромных палат «великолепного князя Тавриды» плотная толпа кишит как обеспокоенный муравейник и снует, путается всякий люд, от сановника в регалиях до скорохода в позументах... А среди этой толпы кое-где мелькнет, отличаясь от других, статный кавалергард в серебряных латах, арап длинный и черномазый в пунцовом кафтане; киргизенок с кошащей мордочкой, в пестром халате и с бубунчиками на ермолке; пленный нахлебник-турок в красной феске, шальварах и туфлях; карлы и карлицы в аршин ростом с зеленоватозлыми или страшно морщинистыми лицами. А между всеми один, сам себе хозяин, никому не раб и не лстец, – ходит, важно переваливаясь, генеральской походкой громадный белый сенбернар.¹

На парадной лестнице и в швейцарской стоят десятки камер-лакеев и фурыеров,² гайдуки, берейторы,³ казачки-скороходы... Мимо них проходят, прибывая и уезжая, сановники и вельможи с ливрейными лакеями и гвардейские штаб-офицеры с денщиками, гонцы и курьеры из дворца.

И все это блесит, сияет, искрится точно алмазами.

Будто ярко-золотая волна морская бьется о стены Таврического дворца, то напирая с улиц под колоннаду подъезда, то вновь отливая обратно с двора...

Высокие щегольские кареты, новомодные берлины⁴ и коляски, старые громоздкие рыдваны,⁵ экипажи всех видов и колеров, голубые, палевые, фиолетовые... снуют у главного подъезда... Лакеи и гайдуки швыряются, подсаживая и высаживая господ, и лихо хлопают дверцами, с треском расшвыривают длинные, раздвижные в шесть ступеней одножки, по которым господа чинно шагают, качаясь как на качелях...

– Подавай! Пошел! – то и дело зычно раздается по двору.

И движутся разномастные цуги сытых глянцевиных коней, то как уголь черные, то молочно-белые, или ярко-золотистые с пепельными гривами и хвостами, или диковинно-пестрые, пегие на подбор, так что от масти их в глазах рябит. Цуги коней, будто большие змеи, выются по двору, ловко и лихо изворачиваясь в воротах, или у подъезда, или среди экипажей и людей. Искусник-форейтор⁶ из малорослых парней, а чаще шустрый двенадцатилетний мальчуган бойко ведет свою передовую выносную пару коней – подседельного и подручного.

– Поди! Гей! – озорно и визгливо вскрикивает он и все вертится в седле, оглядываясь на свои построжки и на весь цуг, на дышлового, на толстого кучера с расчесанной бородиншей, что расселся важно на бархатном чехле с золотыми гербами.

Всадники-гонцы, офицеры и солдаты, тут же скачут взад и вперед. Двое, справив порученье, садятся на лошадей, а на их место трое влетели во двор и, бросив поводья конюхам, входят на подъезд, сторонясь вежливо, чтобы пропустить вельможу, сенатора, адмирала, сающихся в поданную карету.

В саду, на лужайках, на площадках и в подстриженных по-модному аллеях, мелькают цветные кафтаны и дамские юбки, звенят веселые голоса, женский смех и французский говор... Здесь гуляют гости, приехавшие не по делу, не с докладом, не с просьбой, а «по обыкности» – одни, как хорошие знакомые, другие, чтобы *faire leur cour*⁷ временщику и раздавателю милостей.

Близ легкого пестро выкрашенного мостика, среди площадки, между мраморными амурами на пьедесталах, собралась большая кучка пожилых сановников, зрелых дам и молодежи. Общество сгруппировалось вокруг красавицы баронессы Фон дер Тален, новой львицы при дворе и в городе... Маленькая и полная немочка, уроженка Митавы,⁸ двадцати лет, от которой пышет красотой, юностью и здоровьем, одна из всех без пудры, румян и сурьмы. Блестящий цвет лица и прелестные голубые глаза белокурой баронессы не нуждаются в притираниях. «*La Venus de Matau*»⁹ – ее прозвище в Питере, данное государыней в минуту раздраженья. Муж ее, уже пожилой генерал, давно в отсутствии, в армии, а она ухаживает за князем, и в столице носятся слухи, что Венера Митавская – временный предмет светлейшего.

Недаром и племянницы князя с некоторых пор постоянно заискивают у нее. И теперь здесь сошлись около нее и подшучивают над ней любезно три из племянниц князя: Самойлова,¹⁰ Скавронская¹¹ и Браницкая.¹²

Пожилый генерал-аншеф,¹³ известный болтун, ходячая газета столицы и сплетник, но добродушный и подчас остроумный, рассказывал что-то, что-то будто из истории Греции, случай из афинской жизни, с Алкивиадом,¹⁴ но с понятными всем, прозрачными намеками на князя и баронессу. Всем им известно, кого давно зовут «Невским Алкивиадом».

– *Vous calomniez l'histoire!*¹⁵ – восклицает Самойлов, родной племянник князя Таврического.

– *Pour plaire a la baronne,*¹⁶ – отзывается генерал.

– Нет! Я бы на месте вашей афинянки поступила совсем не так... – звучит серебряный голосок красавицы баронессы. – *Cette coquinerie d'Alcibiade*¹⁷ не прошла бы ему даром... Она имела мало *caractere*.¹⁸

– В таких приключениях *la coquinerie est la coquetterie des hommes*...¹⁹ – заявляет молодой премьер-майор,²⁰ сердцеед и герой Кинбурна.²¹

– Когда женщина должна себя отстоять, – горячо продолжает баронесса, – то она перерождается: добрая – делается злой, глупая – умной и трусливая, как овечка, – тигрицей...

Завязывается спор. Почти все дамы на стороне баронессы...

– Полноте... Все вы правы! – решает графиня Браницкая. – Только побывав в положении вашей афинянки, можешь знать: что и как сделала бы...

Беседа снова переходит незаметно на непостоянство князя.

– *Domptez le lion*...²² – говорил кто-то, смеясь, баронессе.

– О, это не лев... – весело восклицает красавица. – Князь Григорий Александрович! Трудно найти в мире другого в *pendant*²³ для сравнения... Он и медведь, и ласточка вместе!.. Знаете, что он?! *J'ai trouve!* Он – апокалипсический зверь...

c'est la bete de Saint-Luc.²⁴ Это – крылатый вол! Он лежит лениво и покорно у ног женщины, как и подобает a la bete du bon Dieu...²⁵ И вдруг в мгновение, quand on s'attend le moins,²⁶ взмахнет крыльями и умчится ласточкой.

– В синие небеса или к молдаванкам?..

– Да... к ногам другой женщины...

– Где докажет тотчас неверность пословицы, что одна ласточка весны не делает! – сострил генерал.

– Берегитесь, баронесса, – вымолвила Браницкая, – я передам дяде ваше сравнение. Оно верно, но не лестно... Вол?..

– Крылатый, графиня... je tiens a ce detail.²⁷

– Ага! Боитесь... что дядя выйдет из слепого повиновения, – несколько резко заметила Скавронская.

– Слепое повиновение есть исполнение всякого слова, всякой прихоти, – заметила сухо баронесса. – Этого нет.

– А вы бы желали этого?

– Конечно. Сколько бы я сделала хорошего, если бы каждое мое слово исполнялось князем. Je suis franche.²⁸ Конечно, хотела бы!

– Ce que femme veut – Dieu le veut.²⁹

– Да... но это старо и не совсем верно, – вмешивается пожилая княгиня.

– Правда! Надо бы прибавлять, – смеется баронесса, – quand la Sainte Vierge ne s'oppose pas.³⁰

– О! О! – восклицают несколько голосов.

– Voltairienne!³¹ – говорил генерал.

– Plutot... Vaurierme...³² – прибавляет княгиня, трогая молоденькую женщину веером за подбородок. – Ох, мужу все отпишу... Он там пашей в плен берет, а жена здесь сама пленяется...

– Да... И напишите, княгиня. На что похоже. Барон там «курирует» опасность в битвах, а жена здесь blasfeme.³³

– Напишите! Напишите! Напишите!.. – раздается хор дам.

– Ох уж вы, молодежь... Грешите... – вздыхает старик сенатор. – Сказывается... все под Богом ходим!

– Да-с, ваше сиятельство... Истинно! А вот при Анне Ивановне, помните, не так сказывали...

– Как же? Как?

– Говорилось пошепту: «Все под Бироном ходим!»

И снова гулкий, звонкий и беззаботно звенящий смех раздается далеко кругом, будто рассыпается дробью по дорожкам среди подстриженных аллей.

II

В большой зале дворца тихо. Глухой, задавленный ропот едва журчит, прерывая эту тишину, соблюдаемую из высокого почтения к месту и лицу. Народу тут всякого много, от сильных мира до самых слабых.

Великая награда привела сюда одного – чтобы отблагодарить, и великая обида привела сюда другого – просить заступничества. Этот получил вчера тысячу душ во вновь присоединенной Белой России, этот – богатые угодья, луга и леса из новых пустопорожних земель в Новой России, этот – серебряный сервиз в несколько сот рублей... Этот – крест, чин, придворное звание... А эти еще не

получили, но желают получить и приехали ходатайствовать... А этот потерял все имущество от несправедливой ябеды, этого разорила тяжба с соседом, родственником Зубовых, этот просит винный или соляной откуп, этот – местечка ради куска хлеба.

Во все века, у всех народов было, есть и будет то, что в этой зале теперь... Там, за высокими дубовыми дверьми – кабинет человека, который сам когда-то – простым офицером, мелким дворянином – мечтал о лишнем галуне, о лишнем рубле, а теперь для него все на свете... Этот дворец, даже вся столица, даже иные пределы и иные враги этой империи – трын-трава.

Мир и люди ему – муравьиная куча... Наступит он по прихоти пятой на эту кучу – и сколько несчастных сделает, сколько горя, сколько слез. А захочет милловать – сколько счастливых заплачут от радости и восторга и заблагодарят Бога за князя Таврического.

Что же он? Посланник неба? Олицетворенная духовная мощь? Гений? Нет, он – чадо случая, сын фортуны. Его сила в слабости людской.

Он владыка мира сего, раб своих похотей.

Но где нужна тщетная сила желаний и воли сотни людей, он мизинцем двинет – и все творится по его мановению. И не в одном доме или одном городе, а на пространстве трети земного шара.

– Князь может много! – шепчет тощий, но важный сановник молодому франту, а около них дворянин из-под города Карачева, разоренный ябедой, смущенно мнет шапку в руках и робко, тайком прислушивается к их речи и вздыхает...

– Почему же так, ваше сиятельство?

– Царица всегда сделает по просьбе князя. А князь на просьбу царицы, бывает, отвечает: «Уволь, матушка, не могу. Приказ твой исполню, а коли просишь, не пеняй, не могу... Противно совести, или слову данному, или родственным чувствам!» Вот тут и аминь, государь мой.

И дворянин из-под Карачева отчаяннее мнет шапку, озираясь на сверкающие кругом мундиры, и все вздыхает...

– Воеводство, любезный приятель, токмо ему принесло пользу. Ему нужен был говор и шум на всю Европу, – тихо говорит генерал-аншеф с Георгием на шее другому сановнику, адмиралу в белом мундире с зелеными отворотами. – А государственной статской надобности – умирать буду, скажу – не было и ныне нету. Что нам Таврида? Подобало создать между нами и оттоманами рубеж, независимое ханство... оплот... ограду... Да. А не брать себе... А он, поди, уже возмечтал и Царьград, и Элладу привоевать. А там уже недалече... и Иерусалим прихватить.

– Да, – смеется адмирал. – И его бы туда наместником спровадить.

Собеседники осторожно и сдержанно смеются.

Время идет, час за часом, скоро вечерни...

Тихий говор толпы, ожидающей приема, все гудит глухо под сводами зала в два счета, будто рокот дальнего водопада, сдержанный горами и ущельями.

Курьеры проходят в кабинет без доклада и выходят вновь тотчас же...

Адъютанты вызывают ожидающих в очереди по фамилии или вежливо и смиренно, или важно и гордо, или с таким видом провожают в кабинет иного просителя, как если б он был блоха, попавшаяся им в руки...

Уже много всякого народа побывало за большими дубовыми дверьми и на

мгновенье, и на целых четверть часа, и, появившись оттуда то с сияющим, то с мрачным лицом – прошли толпу ждущих очереди и разъехались по городу.

Много сановников еще ждут, а несколько сереньких фигур в дворянских мундирах и много простых офицериков были уже приняты светлейшим. Еще несколько генералов двигаются от одного окна к другому, ни с кем уже не разговаривая и сопя, пыхтя, видимо, злобствуют на публичный афронт. Жди и пропусти – вперед всякую сволоку. Недаром сам из смоленских «потемок».

Снова вышел адъютант и позвал господина Саблукова.

Дворянин, давно смявший свою шапку совсем в лепешку от волнения, затрепетал, зашвырялся, оглядывается кругом и будто не понимает, чего от него требуют.

– Господин Саблуков! – снова раздается громче.

Все оглядываются и переглядываются, будто говоря незнакомым: «Не ты ли?»

– Господин Саблуков?! – в третий раз возглашает адъютант, озирая толпу.

– Я-с... – раздалось чуть слышно, будто не из груди дворянина, а будто откуда-то издалече.

Неровными шагами двинулся господин Саблуков к дубовым дверям и исчез в кабинете.

В день Страшного суда Господня, при трубном гласе архангелов, созывающих мертвых восстать из гробов и предстать пред лицом Божиим, – господин Саблуков менее оробеет... Его жизнь вся на ладони, чиста, ни соринки на ней. А праведный небесный суд такой совести не страшен! А здесь ведь иной, земной. А ведь сейчас здесь вот, в кабинете царедворца, решится участь его личная, его жены, семерых детей, восьмидесятилетней матери, родственников, всех чад и домочадцев, даже его нахлебников. Всем на улицу без куска хлеба... Да это куда ни шло! А честь дворянская поругана будет, закон государский осмеян, правда людская попорана пятой ябедника.

И смутно в голове, бурно на сердце, темно в глазах и будто пьяно в ногах серенького дворянина, идущего вынимать свой жребий из рук фортуны, идущего класть свою голову не на плаху под топор, а хуже, обиднее... Класть голову и все головы семьи под случай, под прихоть...

– Саблуков! Преглупое прозвание! – заметил один сановник по фамилии Хантемиров.

– Стариннейшее дворянское! государь мой, – отзывается кто-то.

Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать... «Вона как...» – замечают многие мысленно. Проходит полчаса...

– Скажи на милость?.. Важное какое дело! – иронически замечает шепотом генерал Хантемиров.

Выходит наконец из дверей и бежит господин Саблуков... бежит рысью по залу куда глаза глядят, а куда – ему неизвестно. Лицо пунцовое, потное, мокрое... Слезы ручьем льют из глаз, челюсти судорога треплет, а зубы щелкают. А в руках блин-шапка, и он на бегу утирается ею, забыв про носовой платок... По счастью, попал он в двери и на подъезд, а авось до дома доберется.

Светлейший все расспросил, по ниточке дело его разобрал, пытал как в стенке и объявил весело:

– Небось, голубчик, все суды вывернем наизнанку. Твое дело правое! Правда

при тебе и останется. Мое тебе слово.

А вслед за счастливым дворянином вышел важно курьер с письмом к английскому посланнику, где такая загвоздка Альбиону прописана, что через месяца два-три вся Европа всполошится, даже французские Мараты и Дантоны подождут людей резать и сойдутся на совет.

За курьером вышел адъютант и велел кликнуть к светлейшему капитана Немцевича... Прибежал через минуту капитан с животиком, на коротеньких ножках, кругленький, розовенький, кровь с молоком – просто булка. Пробежал он зал и скрылся...

Тотчас и назад выкатился он из кабинета и весело озирается, будто спросить что хочет. Подошел он к ближайшему, еще не виданному им в столице генералу и, стало быть, приезжему вероятно чрез Москву, и вежливо кланяется.

– Виноват, ваше превосходительство. Не изволите ли знать... Светлейшему окажите послугу!.. Где найти самый перворазборный рагат-лукум. Сласть такая малоазийская.

«Тьфу: глупость какая! – думает генерал, пыхтит и головой трясет. Он случайно знает, где найти, ибо едал и сам этот рагат-лукум, да неприлично совсем об этом тут речь вести. Не за этим он приехал и ждет. – Черт вас подери», – думает он и прибавляет:

– Сожалею, не знаю.

– Перворазборный, удивительного качества, найдете у купца Грегорианова в Зарядье, – отзывается самодовольно молоденький сержант.

И видно по глазам масляным, что он его сосал еще недавно, сидя у матушки своей и воспитываясь на вареньях и медах.

– Село Зарядье? Какой губернии и уезда? – спрашивает обрадованный капитан.

– Никак нет-с. Зарядье в Москве, в городе.

– А-а? В самом городе Москве! – восклицает Немцевич.

– Да-с, в Москве, но собственно в городе.

Не сразу питерский капитан понял москвича-сержанта... И подивился наконец, что в городе Москве есть еще свой город, не в пример прочим городам российским.

– В городе близ Ильинки! – пояснил сержант.

Капитан юркнул опять в кабинет князя и, появившись тотчас обратно, немного менее веселый, стал расспрашивать сержанта: где, что и как... в мельчайших подробностях.

Его светлость отрядил его, капитана, тотчас, не медля нисколько, гонцом в Москву привезти пуд сего лукума-рагата. Капитан бодрится, а видно, ему не очень сладко... Сейчас он к приятелю на именинный пирог собирался, а тут собирайся вдруг тысячу с лишком верст отмахать, чтобы доставить малоазийскую сласть.

Пока дело шло об рагат-лукуме, приехал чужеземец в странном наряде, но с орденом и оружием.

Это был грек Ламбро-Качони в своем национальном платье. Он прошел без доклада, стуча бесцеремонно по паркету... Адъютанты князя вились около него, как мухи около меда... Это любимец их барина.

Ламбро-Качони был самый дорогой посетитель для князя, ибо у них было одно общее, дорогое им, трудное предприятие, которое, однако, шло на лад...

Дело немаленькое!.. Поднять всех греков, и древнюю Элладу, и весь Архипелаг... весь христианский Восток. Князь был душою дела, а Ламбро – правой рукой.

Но совещались они недолго. Грек только передал последние вести из Эпира и из Крита.

Принял затем светлейший еще с десятков лиц после этого чужеземного вельможи. Но вдруг в зале храбро появился молоденький камер-юнкер, и о нем тотчас доложили... тотчас пропустили...

Адъютант князя появился тотчас в дверях и громко объявил всем ожидавшим еще очереди, что приема больше не будет. Светлейший вызван к государыне и пошел одеваться, чтобы ехать в Зимний дворец.

– Это со мной в седьмой раз! – раздражительно проговорил один статский советник незнакомому соседу.

III

Высокий, пожилой широкоплечий богатырь, в ярком мундире, сплошь залитом шитьем, с плотной грудью, покрытой рядами звезд и крестов русских и чужеземных, двинулся тихо и лениво из кабинета на парадную лестницу... Походка его, с перевалкой, простая, не сановитая и деланная, а естественная и даже отчасти по природе неуклюжая – производила особое впечатление... «Весь залитый золотом, да орденами и регалиями, в каменных самоцветных и алмазах – и так шагает по-медвежь?» Чудится, что добродушный и добросердечный вельможа. С важными и высокостоящими – он и бывает груб, высокомерен и жесток – за то, что они мнят себя ему равными. Но маленького человека он пальцем не тронет, ни с умыслом, ни нечаянно, а будет с ним «свой брат», русская душа нараспашку. Если когда и обругает кого самыми на подбор скверными и погаными словами, так это именно, чтобы милость свою и доброхотство высказать прямее, сердечнее и понятнее для истого россиянина. Обруганный так и засияет от счастья, когда светлейший и его, и всех родственников переберет.

«Великолепный князь Тавриды», лениво и тяжело переступая с ноги на ногу, медленно прошел через весь дворец свой, меж двух рядов своих придворных, живой, блестящей изгородью протянувшихся от зала до подъезда. Подсаженный, почти внесенный на руках в поданную коляску, он двинулся из ворот в поле, за которым вдали, после огородов и пустырей, виднелась рогатка городская.

Будто большое, плотное, яркое облако, сияющее и ослепляющее глаз переливами всех радужных цветов, выползло из ворот и поплыло из Таврического дворца в Петербург. Это свита князя... которая конвоирует его всегда по городу... Всадники в разноцветных мундирах; латники, гусары, казаки, черкесы, гайдуки – бьются кругом. А впереди экипажа и коней, саженях в пятидесяти, бежит рысю по пыльной дороге десяток скороходов, в красных кафтанах. Они несутся вереницей попарно за длинным и худым арапом, громадного роста и с двухсаженной золотой булавой в правой руке. Будто сам сказочный Черномор открывает шествие почти сказочного вельможи.

Но он сам уныло, тоскливо озирается кругом...

«Подступает, – думается ему. – Идет!»

Да, он прав, действительно «подступает» и впрямь. Вчера еще было на молебне во дворце и вечером на торжестве, которыми поминали его подвиги, прошлые победы и благодарили Господа Бога за... плоды его разума, его воли, его

усилий душевных, его деятельности... И все и вся преклонялось, поздравляло, льстило, млея перед ним.

«Не правда ли это, – думал и думает он. – Нужно ли? Дело ли это или безделье? Велико это или мало? Муравей... козявка... Ишь ведь мишурой-то забавляемся! – оглаживает он конвой. – Австралийские попугаи-какаду тоже любят это! – усмехается он, тоскливо и презрительно оглядывая свою грудь, покрытую регалиями. – Им в клетке всегда лоскут притыкают, чтобы пели и говорили забористее».

Он вздохнул, встряхнул головой, будто отгоняя эти мысли.

– Эх, подступает... – полубормочет он под грохот экипажа. – И затем. Что тут разбирать по ниточке. Каждая ниточка – если и распутаешь всю сию паутину как философ, то каждая все-таки, сама по себе, будет тайна великая мироздания, загадка премудрости Всеблагого Творца... И чуешь на душе, что сказывается там так: не гадай, не время теперь, обожди. Теперь живи... Кончишь земной путь – тогда все узнаешь как по писаному. А сия книга бытия твоего, и всего, и всех при жизни – катавасия и скоморошество, чего спешишь, вперед заглядываешь, обожди, все узнаешь! И узнаешь-то, с тем чтобы уж не пользоваться. И себе, и другим без пользы. Оттуда не придешь рассказывать: так и так, мол, братцы...

– Тыфу! Будет! Отвяжись! – выговорил князь уже громко, будто обращаясь к собеседнику невидимому, который пристал и всякую дрянь выкладывает ему, тянет грустную да безотрадную канитель.

– Подтяни вожжи!.. Прибавь ходу! Попадья! – крикнул он кучеру нетерпеливо.

Все рванулось и двинулось шибче; застучали колеса, заскакали всадники, зазвенела амуниция, и будто пуше засверкало все на солнце...

«Пожалуй, обидел ведь кучера-то своего Антона, и зря... Чем он попадья? Первый кучер в столице, – думается ему. – Надо поправить. Зачем обижать зря...»

– Эй ты, собачий сын! Что, наш Юпитер все хромает?

– Лучше, Григорий Лександрыч, – отвечает не оглядываясь бородатый кучер. – Я их обеих – и Рыжика, и Евпитера...

– Не Евпитер, чучело гороховое, Юпитер! Ишь ведь вы, скоты, хуже татар и турок. Ей-Богу, вы, псы этакие, иноземных слов совсем заучить и сказывать не можете.

– А на что они нам? У нас свои есть! – отзывается Антон.

Князь Таврический пристально уперся пронизательным, умным взглядом своего глаза в широкую спину Антона и думает:

«Да. Вот. Рассудил. Истинно! Этак бы и нам все государские дела вершить. Памятовать сие изречение Антона. У нас все свое есть. А мы все чужое понахватали. Чужое на стол мечи, а свое ногами топчи! Нет такой пословицы – а должна бы таковая быть!»

– Антон?! – крикнул князь.

– Чего изволишь, батюшка?

– Ты умница, Антон!

– Рад стараться, Григорий Лександрыч.

– Ты умнее меня! Умнее всех сенаторов и советников. Мы все олухи и пустобрехи.